

НАДЕЖДА и НИКОЛАЙ
КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

ЗОРИНЫ

ОКРАСЬ ВСЕ
В ЧЕРНЫЙ



Николай Зорин
Надежда Зорина
Окрась все в черный

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=590145

Окрась все в черный: роман: Центрполиграф; Москва; 2010

ISBN 978-5-227-02064-2

Аннотация

Все началось с абсолютной темноты. Ужас подкатил к сердцу художника, когда он понял, что не может пошевелиться. Но он не один в этой крошечной тьме, есть и другие обездвиженные, и они обезумели от страха и от страха умерли один за другим, все, кроме художника. Или он тоже умер? Кошмар отступил, но осталась картина «Шесть мертвецов», тех самых из темноты, художник написал ее, чтобы избавиться от пережитого потрясения. Он придумал их характеры и внешность, а они вдруг появились в его реальной жизни и стали умирать один за другим. И тогда художник понял, что последним мертвецом будет он сам...

Содержание

Пролог	4
Глава 1	10
Глава 2	49
Глава 3	58
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Надежда Зорина, Николай Зорин

Окрась все в черный

Роман

Пролог

Возможно, я просто ошибся дверью: из темноты беспмятства, в которой я пребывал, попал в темноту реальную. Нужно вернуться назад – уснуть и снова проснуться, тогда все встанет на свои места. Так я подумал вначале и потому не испугался, не запаниковал, закрыл глаза и стал дожидаться сна... Но сон не вернулся.

Сон не вернулся, мешала тревожная неопределенность моего положения, ясность сознания не давала уснуть. Я вдруг отчетливо понял, что лежу в абсолютной темноте, что такой темноты не бывает, если ты жив и не слеп. По моим глазам словно провели густой черной краской. Напрягаю до боли веки – и не могу разорвать этот мрак! Я – художник, и это – самое страшное, что могло со мной произойти. Хочу поднять руку, чтобы ощупать ослепшие глаза, – и не могу. Невозможно пошевелиться. Значит, я не просто слепой,

я мертвый художник?

Если я умер, то тот человек – не я. Он жив, он боится, он в истерике ужаса. Он просто обезумел, когда осознал, что очутился в абсолютной, непробиваемой темноте и не может даже пошевелиться. Я – не боюсь, значит, для меня все кончено.

Итак, это не я, а какой-то другой человек – возможно, тоже художник – вдруг оказался обездвижен и слеп. Когда истерика стихла и появилась возможность мыслить, он попытался вспомнить, как умер. Но вспомнить не смог. Из черной темноты беспамятства он просто вынырнул в новую темноту. Тогда он напряг воображение, как до этого напрягал веки. Он хотел сочинить историю, которая, возможно, осчастливила бы его благополучным концом. Но воображение рисовало один кошмар ужасней другого: его связали и сбросили в глубокий колодец, колодец накрыли крышкой и завалили для верности камнями; его поместили в тесный гроб и похоронили, не удостоверившись в том, что он действительно мертв. Заживо погребенный! Ужас ужаса.

Или, может быть, это все-таки я? Ужас подкатывает, но останавливается на полпути, не достигнув цели. Как волна, разбитая волнорезом. Прислушиваюсь и не понимаю, доходят ли до моего сознания звуки, или тишина здесь тоже абсолютная? Прислушиваюсь и ловлю себя на бессознательной оговорке «здесь». Где это здесь? И кто это здесь – он или я? Наверное, все-таки он. Ведь если бы это был я, то просто

умер бы от ужаса. Но страха нет, совсем нет, есть только раздражающая неопределенность: он или я – как когда рассматриваешь старую, плохо сохранившуюся картину (один неясный силуэт накладывается на другой, тоже неясный) и хочется немедленно снять, соскрести мешающий слой. Прислушиваюсь... Слепой мертвый художник прислушивается... Ему начинает казаться, что он что-то слышит. Но скорее всего, эти едва уловимые звуки производит он сам: своим дыханием, биением сердца, движением крови в сосудах. Значит, он жив?

Он или я?

Он жив, он находит спасительную лазейку для своего сознания. Кома. Он лежит в коме – отсюда все странности. В коме, в стерильной белой палате, где-то здесь, поблизости, заботливая медсестра. Ему нечего бояться, стоит только позвать... Это она дышит, ее сердце бьется, ее кровь пульсирует в сосудах... Стоит только позвать – она непременно ему поможет!

Но почему он не чувствует ее запаха, почему он не чувствует боли? Почему я ничего этого не ощущаю?

Уснуть! И тогда все получится. Тогда все встанет на свои места. Уснуть... Я чувствую, как по лицу ползут слезы от невероятного напряжения, – напрягаю все силы, чтобы уснуть.

Глупый, слепой, мертвый художник! Разве ты еще не понял, что уснуть не получится? Нужно позвать на помощь ее,

медсестру. Она – единственная надежда.

А если это не кома? А если и крик не получится?

Но что мешает проверить? Позови, выкрикни...

Стон. Тихий, протяжный, жалобный. Почему она стонет?

Или это он стонет?

Или я?

– Помогите! – зову я на помощь, а в ответ слышу крик.

Крик обезумевшей от дикого страха. Женский истерический крик. Я – он – мы присоединяемся к этому крику. Крик обретает новые голоса. Мужчины и женщины – узники ужаса – кричат, просто исходят криком. Я не один, мой мертвый художник здесь не один. Нас много – их много. Мужчины и женщины... Здесь...

Где это здесь? Где медсестра? Почему она не приходит нам на помощь? Крик длится и длится, а темнота не проходит. Попытаться снова позвать? Но в общем хоре мой голос затеряется, она не услышит.

Жду, когда стихнет крик. Стихает. Слышны лишь всхлипы и стоны. Сколько нас здесь? Плачет мужчина, что-то рядом бормочет женщина... Мне кажется, что я почему-то ответствен за этих людей. Художник... Он тоже за них отвечает. Я уже знаю, что звать медсестру бесполезно – нет здесь никакой медсестры, но все же зову, чтобы пробудить надежду в них, моих сотоварищах.

– Помогите!

Ошибся. Никакой надежды я в них не пробудил, а вызвал

новый виток безумия. Крик не смолкает долго.

... Черная, черная загустевшая краска, без единого блика. Такой темноты, такой черноты не бывает. Безумный художник на черном холсте черной краской пишет черную смерть. Шесть человек. Нас здесь шестеро – их на картине шестеро. Он по очереди всматривается в лицо каждого слепыми глазами и приказывает: умри! Плачет женщина... Отвратительно тонким голосом кричит мужчина. Там, дальше, девушка бормочет жалобно, что мать не переживет ее смерть. Кому она говорит, кого умоляет сжалиться? Художник работает.

Черное забытье сменяется черной явью. Ужас густеет, как черная краска, ужас прочно поселяется в теле, как хроническая болезнь. Мужчина, тот, что кричал тонким голосом, жалуется на насморк. Надрывно кашляет женщина рядом, а этот нудит и нудит: рассказывает, долго, подробно, историю своего давнего гайморита и не дает уснуть. Впрочем, сон ничего не меняет. Сон и явь, явь и сон – черная бесконечность. Женщина задыхается от кашля.

Первая смерть. Женщина больше не кашляет. Ей больше не страшно. Как и мне. Страшно художнику. Первая смерть. Прошу минуты молчания. Не слышат, не слушают. Мужчина хрипит простуженным носом, другой тихо, жалобно бредит. Кто будет следующий? Художнику страшно – кому теперь он заглянет в лицо?

Или первым был я?

Я не знал, что страх – это смертельная болезнь. Следую-

щим оказался мужчина с простуженным носом. А тот, другой, все еще бредит. Плачет девушка в дальнем углу – по детским всхлипам, совсем молодая. По детским всхлипам, по детскому голосу. Плач ребенка звучит у меня в голове. Я не помню ребенка. Я... Я имею право забыть, потому что и сам теперь умер.

Забыть. Пробуждение. Даже сны не расцвечены красками. Третья, четвертая смерть. На черном полотне черной краской искаженные ужасом мертвые лица. Я кричу, но не чувствую ужаса. Я кричу и кричу – я хочу испугаться. Напрягаю все силы, чтобы обезуметь от страха. Может, тогда все встанет на свои места...

Тишина. Больше нет никого. Мы одни – я и художник.

Глава 1

Вечер шести мертвецов (Филипп Сосновский)

Кошмар отступил, но осталась картина. «Шесть мертвецов» – так я ее назвал. Написал, назвал и сбыл поскорее с рук, надеясь, что теперь-то все закончится. Ничего не закончилось! Она не желала меня отпускать, навязчивая стерва. Моя случайная связь обернулась длительными невыносимыми отношениями. Она, как ревнивая, назойливая любовница, таскалась за мной повсюду, занимала мои ночи и дни, требовала внимания и устраивала безобразные сцены, стоило мне только посмотреть в сторону. Целый год я ничего не писал, не мог написать – она не давала: выдворяла взащей мои простые мирные фантазии, просачивалась в самые невинные сюжеты. Я не мог смотреть в зеркало: оттуда выглядывал мой мертвый двойник с картины. Как я ее ненавижу! Все время, пока писал, ненавижу, но тогда еще надеялся, что напишу и закрою тему, а когда дописал и она не пожелала убраться, ненависть моя приобрела характер навязчивой идеи.

По злой иронии именно эта картина сделала меня знаменитым. Именно она в глазах публики придала зловещий оттенок моим прежним невинным полотнам. В моем «Мальчи-

ке с котенком» стали видеть чуть ли не подрастающего ма-
ньяка, а мой «Пастушок» превратился в будущего оскверни-
теля праха. У меня появилась бездна поклонников и, черт
возьми, даже подражателей. Картина, которую я продал за
бесценок (лишь бы поскорее избавиться), в конечном сче-
те обогатила меня. Мои почти детские «Гимнастка», «Пры-
жок», «Растерянность» ушли – страшно сказать! – каждая за
сто тысяч евро. Я теперь не просто знаменитый, я модный
художник. За глаза поговаривают, что я гениальный.

Гениальный, знаменитый и модный, за весь год не набро-
савший ни одного этюда. Разрушенный, отравленный, сума-
шедший, больной. Меня осаждают журналисты. Я делюсь с
почтеннейшей публикой своими творческими планами, при
этом вру, безбожно вру, и ненавижу, ненавижу свою карти-
ну! Я больше никто.

* * *

Выздоровление произошло внезапно. Я гулял по городу
рука об руку со своей неотвязной любовницей и случайно за-
брел в этот район. Наитие ли случилось, или судьба наконец
сжалилась, не знаю, но я остановился именно возле этого до-
ма, моя стерва недовольно заворчала, но вдруг осеклась, сту-
шевалась и потихоньку вытянула руку из моей руки... Мне
стало легко-легко. Я понял, что делать. И тут же забрезжил
сюжет, и Она не предъявила на него свои права, а тихонько

заковыляла прочь.

Через неделю я переехал. Тайно, под покровом ночи, в этот необитаемый дом и начал писать картину. Простую картину, без всяких дьявольских заморочек. Вечер, уютная комната освещена мягким домашним светом, мужчина моего возраста – немолодой и нестарый – сидит в кресле. Его взгляд обращен к двери, его улыбка – предвкушение счастья. Вот-вот должна появиться женщина, его жена (сейчас она в детской укладывает спать их сына). Счастливый семейный вечер. Все это видит случайный прохожий с улицы через освещенное окно и не завидует, а тихо сопереживает их счастье.

Я и сам был счастлив, я влюбился в мой «Вечер». Я бродил по своей огромной комнате, превращенной в мастерскую, и сочинял вслух сказку – с этого всегда и начинался первый этап работы. Теперь все было как раньше.

Когда история жизни этой семьи сложилась окончательно, я приступил к собственно написанию. Но вот тут-то и начались неприятные моменты. Личность подсматривающего в окно мне категорически не нравилась. Он отказывался проникаться тихим семейным счастьем, он видел все совсем в другом свете, чем я, да он вообще не смотрел, а что-то высматривал! Высматривал и прислушивался. К чему он прислушивался? Лично я ничего не слышал. Мужчина в комнате один, голоса женщины не слышно. Ребенок... В его голове плачет ребенок. Как когда-то... Нет, нет! Просто в его голо-

ве почему-то звучит плач ребенка. Очевидно, это его недавно умерший маленький сын. Но что же мне делать? Он не сможет проникнуться чужим счастьем, пока не избавится от воспоминаний, пока эти воспоминания его мучают. Как же его отвлечь?

Я ходил по комнате, по огромной своей мастерской, уговаривая его забыть, умоляя не завидовать, обещая, что все будет хорошо, жизнь наладится. Он сосредоточенно прислушивался к тому, что звучит в его голове, и моих слов не услышал. Я заговорил громче, я уже почти кричал, но не смог пробиться сквозь этот жалобный плач.

Несколько дней прошли в бесплодной борьбе. Я уже думал от него отказаться и изгнать из картины. Начал писать все сначала... Не вышло! Мужчина в комнате, оставшись без «присмотра», повел себя не лучше этого осиротевшего отца. Он то и дело поворачивался к окну, исподтишка проверяя, не вернулся ли его сотоварищ, и лицо его принимало какое-то зловеще-непристойное выражение. И хуже того: плач ребенка теперь переместился в мою голову. Он звучал и звучал, и я ничего не мог с этим поделать.

В конце концов я сбежал. От них, от себя, от своего теперь уже совсем не любимого «Вечера». Я жутко на всех разозлился – был в бешенстве. Что же это в самом деле? Так хорошо начиналось – и на тебе! Бешенство сменилось отчаянием. Я долго, бесцельно бродил по городу, присаживался на скамейки и снова бродил, бродил. Если теперь не напи-

шу эту картину, не напишу уже ничего никогда. Весь год не писал. И вот... Неужели я исчерпал себя, неужели перестал быть художником?...

Больше всего в этой яростной прогулке меня раздражали витрины. Не знаю почему. Хотя люди тоже раздражали. Лица их казались тупо самодовольными и агрессивными. И все они отражались в витринах. И было их бесконечно много – и людей, и витрин. И душила жара. И ужасно тянуло разбить хотя бы одну из витрин, и кружилась голова, когда отступала ярость.

Измученный, в предобморочном состоянии, совершенно обессиленный, я рухнул на белый пластиковый стул возле какого-то магазина. Наверное, его поставил сюда охранник и сейчас он вернется, или продавщица предусмотрела перекур с удобствами – во всяком случае, меня немедленно прогонят, может быть со скандалом. Но мне все равно. Я сидел, тяжело дышал и отражался в витрине. Ребенок в голове не плакал, а монотонно, без всякого выражения скулил, где-то там, на заднем плане. И вдруг... Я понял, почему меня так раздражали витрины – они ассоциировались в подсознании с моим ненаписанным окном. Мне стало легче, но не это главное. Я понял, чем заглушить плач ребенка, чем нам всем можно помочь. Музыка. Моей картине не хватало музыки. Мужчина в комнате слушает... Что он слушает? Я прислушался: музыка, тихо-тихо, звучала в магазине, возле которого я притулился на стуле, знакомая музыка, моя музыка, –

ну да, конечно! – он слушает Перголези.

Это оказался никакой не магазин, а частная музыкальная библиотека. Очень современная, даже модерновая по оформлению, с прекрасной аппаратурой, с обширной фонотекой, с разнообразным перечнем услуг. Часа через два я вышел оттуда с тремя дисками. Кроме Перголези, мне удалось найти и записать тридцать восемь минорных концертов Вивальди, всего скрипичного Баха, обеих «Ифигений» и «Орфея» Глюка и даже редкого Ридинга.

Домой я вернулся в прекрасном настроении. Теперь мне было чем укротить своих строптивых героев. Остаток вечера мы слушали музыку. Немного поспорили относительно репертуара для картины, но в конце концов пришли к соглашению. Звучать будет *Stabat mater* Перголези.

* * *

Музыка изменила сюжет картины. Вернее, не столько сюжет, сколько его предысторию. Из-за этого смещался акцент – подсматривающий становился главным героем, он – центр, а не тот, кто сидит в комнате. Семейную идиллию, которую он себе вообразил, подглядывая в окно за сидящим в кресле мужчиной, писать нужно для него, а не ради самой этой идиллии. Собственно, дело было так. У этого человека умер сын, шестимесячный младенец. Не вчера, а год или, может быть, даже больше назад, но он все никак не может сми-

ряться с потерей. Особенно тяжело ему становится к вечеру. Неприкаянный, бродит он по городу, а в голове все звучит и звучит плач ребенка. И вот однажды он случайно забрел на эту улицу. А может, и не случайно – судьба наконец жалилась и привела его сюда, чтобы излечить от недуга. Итак, поздний вечер, пустынная, плохо освещенная улица, одноэтажные дома, он идет, гулко раздаются его шаги в тишине. Останавливается, бессознательно к чему-то прислушивается и идет дальше. И вот он начинает различать: где-то тихо-тихо звучит музыка. Он идет на звуки, все идет и идет – музыка приближается, музыка отчетливо слышна. Свет в окне, в единственном окне на этой темной улице. Он заглядывает (сначала украдкой, потом – понимая, что его не видно, – не прячась). Уютная комната, мужчина сидит в кресле, его взгляд обращен к двери, вот-вот появится его жена, а пока он слушает музыку. Теперь они слушают вместе: тот, что в комнате, и тот, что подсматривает в окно, но действует она на них по-разному. Для одного это просто приятное дополнение к его и так счастливой жизни, для другого... Мальчик Перголези пытается успокоить плачущего ребенка, юный гений, рожденный под знаком смерти, утешает несчастного страдальца. Подсматривающий стремится отдаться музыке – она рождает надежду, пока неясную, смутную, но он верит музыке, да и, в конце концов, он так устал, он не может больше носить в себе эти страдания... Он отдается ей, как женщина, потерявшая любимого, случайному любовнику, он те-

чет, наслаждаясь преступной, предательской лаской, – лицо сидящего в кресле расплывается от слез его наслаждения... Боль уйдет, все обязательно наладится, все будет хорошо, этот юноша с печатью смерти обещает, его музыка обещает...

Я видел его так ясно, словно он стоял напротив, здесь, в этой комнате. Или я стоял рядом, там, на той тихой улице. Я готов был писать, я любил его и был благодарен.

– Прекрасно, мой друг, – сказал я ему вслух, словно он был живым натурщиком, – а теперь постарайтесь некоторое время не двигаться.

Я очень спешил, но не успел – лицо его поплыло, черты исказились. Пронзительно закричал ребенок в его голове, жалобным плачем переносясь в мою голову.

Я сделал музыку громче, чтобы заглушить этот крик. Не помогло. Ребенок плакал и плакал. Вывернул звук на полную мощь, бросился на кушетку и так, оглушенный, долго лежал. Громкий звук подействовал опьяняюще. Я ни о чем не думал, не слушал (и даже почти не слышал) музыки, ничего не чувствовал. Образ подсматривающего ушел, но меня это сейчас совсем не волновало. Это было похоже на крепкий сон без сновидений, на беспамятство. Возможно, так чувствуют себя люди под наркозом.

Из прострации меня вывел звонок – долгий, настойчивый звонок в дверь. Я не сразу понял, что это такое, а когда понял, испугался. Кто мог звонить в мою дверь? Никто не знал

о моем местонахождении. Соседи? Не может быть. Все жильцы давно выселены, так как дом шел под снос. Мне с большим трудом удалось снять здесь квартиру. Я так радовался, что от всех сбежал, и вот, видно, меня кому-то удалось найти. Черт возьми!

Я поднялся, подошел к двери, прислушался, но ничего не услышал: музыка заглушала все звуки. Может, мне показалось, что звонят? Наверняка показалось: не должен я был расслышать звонок. Открыл дверь, чтобы удостовериться – и почувствовал одновременно раздражение и облегчение: звонок мне не почудился – на пороге стояла девушка, но, слава богу, не одна из моих знакомых. Впрочем, где-то я ее раньше видел.

– Что вам нужно? – спросил я раздраженно, надеясь, что она обидится, стушуетса и уйдет.

– Выключите музыку! – потребовала она и не думая стушевываться.

– С какой это стати? – Я был искренне возмущен ее наглостью. – Разве это кому-нибудь мешает?

– Еще как мешает! Ваша музыка так орет, что не дает уснуть моему ребенку.

Не могла она этого сказать – мне показалось.

– Ребенку? – испуганно переспросил я. – У вас есть ребенок?

– Ну конечно, и он хочет спать, а вы не даете. Разве не слышите, как он плачет?

Бред, бред, бред! Это все от перенапряжения. Воображение сыграло со мной злую шутку. Я внимательно посмотрел на девушку – где я ее мог раньше видеть?

– Кто вы такая?

– Ваша соседка. – Девушка махнула рукой в сторону соседней квартиры.

Врет она все! Нет и не может быть у меня никакой соседки!

Я захлопнул дверь у нее перед носом, бросился в комнату, выключил музыку, пробежал в другую, смежную, совсем крошечную комнатку, даже не комнатку, а выгородку, служившую мне спальней. Правая стена ее была общей с соседской квартирой. Вбежал и остановился. Я уже слышал, все слышал, но не захотел верить. Прижался ухом к стене – да, так и есть: плачет младенец.

Я долго стоял, слушая плач, я так обессилел! Ноги подкашивались, но я стоял, упорно стоял. Соседка (откуда, откуда она могла здесь взяться?!) уговаривала своего малыша перестать, потом запела песенку (не колыбельную, а какую-то странную). Я слышал чуть ли не каждое слово. Отвратительная звукоизоляция! Но ведь не было никакой соседки, когда я сюда вселялся. Не было ее. И вчера еще не было.

Наконец я смог отлепиться от стены. Сел на раскладушку – мне было не то что страшно, но как-то не по себе. А она все пела и пела, ужасно фальшивя. Ребенок как-то вдруг успокоился, замолчал, словно его выключили. Он замолчал,

а мать его петь не перестала.

Она еще долго пела, а я сидел на раскладушке и безуспешно пытался вернуть образ подсматривающего. Он так хорошо тогда вошел в то нужное мне состояние, такое верное у него было выражение лица, а теперь все потеряно. Чертов ребенок! Если бы он не помешал, я бы успел сделать хотя бы эскиз. Придется начинать все сначала. И музыку громко включать нельзя. И настроение совершенно испорчено. И... жутко раздражает это пение за стеной.

Понимая, что работа моя сегодня накрылась, я решил прогуляться – нужно было как-то развеяться. Но оказалось, что уже наступила ночь. Тогда я разделся, выключил свет и лег. И как ни странно, уснул быстро.

* * *

Разбудил меня плач ребенка. Я зажег лампу (старые жильцы оставили за ненадобностью, а мне она понравилась: потуги на роскошь сороковых – почти раритетная вещь), посмотрел на часы – ровно два. Голова туманилась от внезапного пробуждения, в груди было больно, как при сильнейшей депрессии. Откинулся на подушку, закрыл глаза. Почему он никак не уймется? Чем еще его отвлечь?

Лицо подсматривающего исказилось страданием. И тут я понял, что плач не в голове, а за стеной. Понял и вспомнил: ну да, у меня ведь теперь есть соседка. Мадонна с младен-

цем. Стерва с отвратительным крикуном. Черт бы ее побрал! Почему она поселилась в «моем» доме? Зачем заняла именно эту квартиру – здесь сколько угодно других свободных: выселенный пятиэтажный дом... И ведь наверняка заняла, а не сняла, как я. Кто она такая? Беженка? Рассорившаяся со своей семьей мать незаконнорожденного? Просто бомжиха? Где-то я ее видел раньше. Где и когда?

Я сбежал – возможно, она тоже сбежала. Я – чтобы написать картину, она – чтобы спокойно вырастить своего ребенка. Оба мы беженцы. В пустом доме ей было одиноко и страшно, вот и притулилась поближе к живому, ко мне.

Для того чтобы изводить меня плачем, для того чтобы помешать. Как и чем теперь отвлечь подсматривающего, если даже музыку нельзя включать громко? Надо ей сказать, чтобы убиралась. Утром и скажу. Вселилась в мой дом без спросу, нахально, а теперь еще отстаивает свои права. Нет у нее никаких прав. Пусть выметается!

Я так раздражился, что о сне не могло быть и речи. Не высплюсь, не смогу завтра работать, еще один день пройдет впустую. Из-за какой-то дуры, которой, видите ли, страшно жить в одиночестве. Вскочил, в ярости стукнул кулаком в стену. Потер ушибленную руку и раздражился еще больше. А ребенок не замолкал.

Нужно было что-то срочно сделать. Мне хотелось распахнуть окно, разбежаться и броситься вниз, закричать, завывать, придавить соседку, растоптать свою непокорную картину.

Мужчина в комнате, мужчина за оконным стеклом – тупые уроды – вызывали болезненную ненависть. Скрипя зубами (в самом прямом смысле слова), я ринулся на кухню (подальше от детского крика), постоял, придумывая, чем бы спастись, распахнул холодильник (старый, вся дверца в черных отбитах, тоже от прежних жильцов), долго растерянно созерцал его нутро. Ничего там спасительного не нашлось: ни бальзама для моих ран, ни яду, ни даже простой валерьянки. Вывернул кран на полную мощь, умылся, когда вода стала совсем ледяной, – но не успокоился, только замерз. Непьющий, некурящий художник, мне совершенно нечем себя реабилитировать. Ни разрядки, ни подпитки, как же я вообще работаю? Раньше мог, раньше мне и нужна была абсолютно трезвая голова, для того чтобы мочь, почти по желанию, войти в транс, и твердая рука, для того чтобы этот транс зафиксировать. А теперь... Тогда я писал простые картины. Мои герои были счастливые люди, не познавшие страха, – блаженные младенцы... Младенцы.

Я опустил на табуретку возле окна – оббитые края ДВП неприятно царапали кожу. Отразился в черном стекле, отвел испуганно глаза, чтобы не встретиться с собой взглядом. В такие моменты, как сейчас, я боюсь и ненавижу свое лицо, а еще больше – свой взгляд: он мне напоминает самый жуткий автопортрет, когда-либо написанный художником, тот самый автопортрет с картины «Шесть мертвецов». Шестым был я, единственный выживший.

Выживший из ума. Выживший из своего такого человеческого, такого почти бытового таланта. Шестым был выживший мертвец. Я бы отдал все на свете, чтобы воскреснуть... вернуться в себя и к себе. Но для этого нужно написать эту картину! Вечер счастливого человека – обычный вечер обычного человека. Если я ее не напишу...

Не напишу – помешает подсматривающий. Почему он не хочет видеть то, что вижу я, почему не может пересилить свою боль – жить дальше? Эгоист и подлец. Нельзя так долго носиться со своим несчастьем, нельзя отравлять жизнь другим. По-моему, он просто упивается своей болью, получает от нее удовольствие. Перестань плакать ребенок, так он повесится.

Нет, я к нему не совсем справедлив – человеку действительно больно. Но как ему помочь? Музыкальная терапия вначале оказала благотворное действие, а потом он отвлекся. Но ведь это же был только первый сеанс. Может, если действовать постепенно, а главное – непрерывно, он в конце концов излечится? Завтра надо снова попробовать. Завтра. А сегодня все же постараться уснуть. Тем более что я вот уже и совсем успокоился.

Это было неправдой, во всяком случае про «совсем». Совсем-то я уж точно не успокоился. А когда подумал о том, чтобы уснуть, раздражение опять подкатило. Я сидел на жесткой, колючей табуретке и не мог заставить себя встать и пойти в спальню, туда, где за стеной плачет ребенок. От

нервного напряжения и недосыпа совсем заоченел, спина болела от неудобной позы, и руки, вцепившиеся в подоконник, затекли. Я не смогу завтра работать! Что же мне делать?

Мне все-таки удалось себя пересилить и пойти в спальню. Страхи оказались напрасными – ребенок успокоился, все было тихо. Успокоился и я, выключил свет, лег в постель, завернулся в одеяло и вскоре уснул.

А в восемь часов проснулся от грохота.

* * *

Моя жизнь подчинена расписанию стрессов. Каждую ночь ровно в два я просыпаюсь от плача ребенка, с трудом засыпаю, чтобы проснуться в восемь утра от грохота – соседка вывозит из своей квартиры коляску. Ровно в девять она возвращается с прогулки (снова грохот, но я уже не сплю), в двенадцать дня плачет ребенок, в шесть вечера вечерняя прогулка, в восемь он снова плачет. За целую неделю ни разу не было сбоя: ровно в два, ровно в восемь, в девять... Это постоянство сводит меня с ума, эта запланированность просто убивает. Ну хорошо, прогулки, но разве может ребенок плакать по расписанию?

В этих условиях я упорно пытаюсь работать. Ору на подсматривающего, когда ровно в двенадцать он начинает прислушиваться, но сам выискиваю предлог, чтобы посмотреть на часы. Сегодня я разбил часы. Грохнул о стену, но ничего

не изменилось – часы во мне, теперь могу определить время без всяких часов до минуты.

Музыку я выключаю только ночью. И упорно пишу. Интерьер комнаты, слегка искаженный оконным стеклом, почти готов. Но чего-то ему недостает... Впрочем, так думаю не я, а подсматривающий. Он ищет, пристально всматриваясь, в отсутствующий предмет, рыскает глазами по комнате, нахально, без грана такта. Я ему совсем не сочувствую, плевать на его боль. Он меня просто бесит. Спекулирует своим положением, заражает меня своей болью.

Сегодня я понял, кто он такой и кем подослан. Я писал и вдруг почувствовал очень сильную головную боль. Это было такое забытое состояние! Странно, а ведь у меня действительно давно уже ничего не болело. На этом-то я его и поймал: моя голова болеть не может, значит, болит она не у меня, а у него, у того человека из моего кошмара, который умер от страшной головной боли. Подсматривающий – лазутчик «Шести мертвецов». И подсматривает он не за мужчиной в комнате, а шпионит за мной. Он хочет перекинуть мост между этими картинами, его цель – заставить меня написать продолжение. Мой «Вечер» должен стать второй частью «Шести мертвецов». Не вылечить меня, а отравить еще больше, закабалить безумием окончательно.

Я раскусил его, понял его тактику и выработал свою. Не сдамся, не заставит он меня плясать под его дудку. Мой «Вечер» не будет иметь ничего общего с той ненавистной кар-

тиной.

Включаю музыку – громко! – плевать на соседку и ее ребенка. Всматриваюсь в написанный интерьер: все хорошо, все правильно, только стоит немного развернуть кресло – чуть-чуть боком к окну. Закрываю глаза. Мой счастливец в кресле потрясен и растроган, мой неутомимый страдалец за окном потрясен и растроган – теперь они слушают в унисон, воспринимают музыку одинаково. Я знаю, что это продлится недолго: лицо подсматривающего исказится страданием, страдание передастся счастливцу – нужно спешить. Я и спешу, работаю с бешеной скоростью – недочеты подправлю потом, сейчас главное – записать... Плач врывается – я не даю ему все испортить, заботливо и нежно, преодолевая злость, уговариваю: тише, тише, мой маленький, тише, тише, мой дорогой, спи, малыш, баю-бай. Колыбельная. Я напеваю ему странную колыбельную на мотив Перголези – и он замолкает, а я продолжаю петь. Пою и пишу с бешеной скоростью. Да, да, слышу, что звонят в дверь, но не прерываю работы. Моя музыка мешает уснуть ее ребенку, а ее ребенок мешает мне жить. Который час: двенадцать? шесть? два часа ночи? Не важно, не прервусь, допишу...

Я писал, пока просто не свалился от изнеможения, под торжественный хор пастухов и пастушек (Перголези перетек в Вивальди, Вивальди в Глюка). Мой «Орфей» тоже будет со счастливым концом, кто бы мне что ни навязывал. Весь в поту, перемазанный красками, лежал на полу – правая рука

совсем затекла и стала бесчувственной, в голове клубился туман, но я торжествовал: победил, вопреки всевозможным препятствиям, прибрал своих строптивцев к рукам.

Диск доиграл, и наступила тишина, почти такая же, как в моем кошмаре. Повернул голову к окну, чтобы узнать, какое время суток (часы ведь я разбил). Оказалось, ночь. Поднялся, размял затекшее тело, кое-как отмылся, выпил чаю и побрел в спальню.

Я проспал до позднего утра крепким сном, не слыша ни плача ребенка, ни грохота коляски. Но все равно встал совершенно разбитым и потому решил устроить в этот день выходной. В конце концов, я его заслужил. Принял душ – холодный, в моем выселенном доме горячую воду не подают, – позавтракал остатками то ли вчерашнего, то ли позавчерашнего обеда. Оказалось, что продукты кончились, надо идти в магазин. Что ж, заодно прогуляюсь, проветряться мне не помешает.

Не спеша собрался, надел чистую рубашку, что в моем положении почти роскошь – со стиркой здесь туго: ни машины, ни горячей воды. Но день был праздничный – заслуженный выходной после адской работы, – так что я должен был его как-то отметить. Начистил туфли одноразовой походной щеткой, обулся. Подумал, не надеть ли куртку – немного познабливало, – и не надел: все-таки июнь на дворе. Проверил карманы брюк: не забыл ли чего? Снял с вешалки сумку. Чем дальше, тем медленнее становились мои движения, словно я

чего-то боялся и оттягивал выход. Понятно чего, вернее, кого – соседки. Сообразив это, разозлился сам на себя и решительно открыл дверь. Что-то прошелестело и спланировало мне под ноги. От этого звука я вздрогнул, разозлился на себя окончательно, нагнулся и поднял то, что меня испугало. Открытка. Самая обыкновенная открытка: улыбающийся зайчонок с букетом каких-то неизвестных в ботанике цветов. Что за глупые шутки?

Открытка оказалась приглашением на день рождения соседского ребенка – ему исполняется полгода. Сегодня в пять часов дня. Значит, вчера приходила соседка не для того, чтобы склочничать по поводу громкой музыки, а пригласить на день рождения. Конечно, я не пойду (чего ей вообще вздумалось меня приглашать, я ее совсем не знаю), но нужно хотя бы предупредить и извиниться.

Позвонил в соседскую дверь – никто не откликнулся. Прислушался, ожидая, что заплачет ребенок, – все тихо. Наверное, ушли гулять в неурочное время. Одумались, решили больше не изводить меня своей почти мистической пунктуальностью. Ладно, зайду, когда вернусь.

На улице было жарко, хорошо, что не надел куртку. Прошел двором с полуразрушенной детской площадкой, надеясь и одновременно опасаясь встретить соседку. Извиниться, предупредить, что не буду, – и с плеч долой. Но ее нигде не оказалось. Вздохнул с облегчением (ворчливо посетовал, кривя душой: не встретил) и пошел дальше. Чтобы от-

влечься от неприятных мыслей, стал сочинять дальнейшую судьбу моих подопечных. Все у них сложилось в жизни хорошо. Ребенок вырос, муж и жена жили в любви и согласии до самой старости. Подсматривающий абсолютно исцелился, женился, обзавелся кучей детей, здоровых и крепких. Знаю, все это неправда – так не бывает, но мне было приятно сочинять счастливую жизнь счастливых людей. Шел по улице, машинально передвигаясь, смутно радовался горячему солнцу (несмотря на жару, меня все еще немного познабливало) и придумывал все новые эпизоды: милые, смешные, трогательные. Я заставлял их смеяться, легким смехом людей, не знающих беды и страха, я принуждал их умиляться друг другом, я требовал от них всепоглощающей любви. Я смеялся, умилялся с ними вместе и любил их, невероятно любил.

И вдруг обнаружил, что уже четыре часа. И понял, что нахожусь очень далеко от дома, что ничего не купил, что нужно торопиться, чтобы успеть на день рождения ребенка. Конечно, я туда пойду – не могу не пойти, хочу пойти, слишком счастлив и переполнен любовью, чтобы оставаться в одиночестве.

Я зашел в супермаркет, закупился всем необходимым, а сверх того выбрал самый красивый и дорогой торт, огромную коробку конфет, бутылку вина и букет цветов (белые полураспустившиеся розы, влажные и упруго-колючие). Со всем этим еле всунулся в маршрутку, но в такси не поехал, с

некоторых пор у меня отвращение к этому виду транспорта. Прибыл как раз вовремя – без пятнадцати пять. Занес домой продукты и не удержался, зашел в мастерскую. Мне просто необходимо было посмотреть на своих героев. Я предвкушал радость, счастье, удовлетворение работой – и разбился о полную неудачу: лица на картине были абсолютно неживые. Настроение стремительно стало портиться, но я срочно взял себя в руки, сделал вид, что сейчас все это совершенно не важно, накинул на мольберт кусок старой простыни, быстро вышел из комнаты, захлопнул за собой дверь и позвонил в квартиру соседки.

* * *

Я представлял, как она удивится подаркам, как возьмет смущенно букет и не будет знать, что с ним делать: вазы у нее, конечно, нет, – поблагодарит виновато (конфликт по поводу музыки). Я ей скажу, нарочито развязно, чтобы подбодрить и скрыть свое собственное смущение: ну, и где наш виновник торжества? Она улыбнется, поведет меня в комнату – торжественная, но чуть на цыпочках поступь по коридору двух взрослых малознакомых смущенных людей, – наклонится над кроватью – лицо ее осветится нежностью (немного показной, оттого что я смотрю на нее, а ей по роли полагается выразить нежность)... Я умилюсь, тоже не очень искренне (по той же причине), возьму на руки малыша, наго-

ворю комплиментов и вдруг почувствую – ощушу всем сердцем настоящую нежность. Источником раздражающих звуков окажется это очаровательное дитя. Интересно, у нее сын или дочь? А потом мы, смеясь, положим цветы в детскую ванночку – никаких других подходящих сосудов у нее не найдется, – сядем за стол, откроем бутылку вина, она снимет крышку с коробки конфет, с неловким смешком протянет мне: угощайтесь. Мы немного выпьем за здоровье ее ребенка, и тогда она расплатится и расскажет свою печальную историю – как оказалась здесь, в этом доме.

На звонок мой, однако, никакой реакции не последовало: ни торопливых шагов, ни плача ребенка. Я позвонил снова, начиная заводиться: что же это такое, пригласила в гости, а сама куда-то ушла. Ни ответа ни привета. Растерянно потоптался у негостеприимного входа, с тоской оглянулся на свою дверь: подождать ее дома? Увидел себя со стороны: немолодой раздраженный мужик с букетом и яркими подарочными пакетами нелепо топчется у порога. Черт бы ее побрал, эту дуру с ребенком! Я нервно развернулся, чтобы уйти, ткнул в сердцах в дверь локтем, но тут меня что-то остановило. Звук. И ощущение в локте: я должен был почувствовать удар при столкновении с деревом – его не было: дверь из-под локтя ушла. Ушла и скрипнула.

Я обернулся: ну так и есть – не закрыта. Какое дурацкое положение! И что мне теперь делать? Если соседка куда-то ушла, предварительно пригласив меня в гости, и не заперла

дверь, значит, предполагает, что я просто войду в квартиру и подожду. Как неприятно! Терпеть не могу таких ситуаций. Но с другой стороны, раз она думает, что это в порядке вещей, почему и не войти?

Еще немного помявшись на пороге, я вошел. Коридор с голым крашеным облупившимся полом, потрепанные обои на стенах – все почти как у меня. Люди, которые здесь жили, знали, что их вот-вот переселят, и не делали ремонт, а переезд все откладывался. Я подумал: а вдруг она в квартире, просто не слышала звонка – спит или в ванной, – а тут на тебе, гость с букетом. Надо бы предупредить о своем появлении. Вот только как? Окликнуть? Но я даже не знаю, как ее зовут. Кашлянув и выждав несколько секунд, приоткрыл дверь в комнату и просунул в щель голову – нет ничего нелепей!

– Простите! Вы дома? Это ваш сосед, – проговорил я приглушенным тоном, чтобы не испугать ее, – и просто взбесился от всего этого идиотизма.

Конечно, мне никто не ответил. Ушла на прогулку с ребенком и оставила меня в дураках в качестве мести за громкую музыку. Нисколько уже не церемонясь, вошел в комнату – и тут увидел ее. Соседка лежала на кровати, в углу, за дверью, укутанная двумя толстыми стегаными одеялами, и крепко спала. Что-то меня во всем этом встревожило, я не мог понять что: не по сезону теплые одеяла? слишком крепкий сон? Да, все это странно, но есть нечто еще... Ре-

бенок! Ребенка нигде не было видно, и детской кроватки тоже. Смутно вспомнилось, что в коридоре стояла коляска. Да, точно, стояла. Пустая. Да это и понятно: не оставила бы она ребенка у порога в этом грязном коридоре. Но где же он? Может быть, вместе с ней, под одеялами? Но ведь он там задохнется! О чем вообще думает эта нерадивая мамаша?

Я подошел к кровати и резким движением откинул одеяла – ребенка не было. Ребенка не было, а его мать...

– Она заболела, – вслух проговорил я, – простудилась, приняла лекарство, но озноб не прошел, закуталась в одеяла и крепко уснула. Она заболела и крепко уснула! – громко повторил, почти прокричал я, понимая, что это чушь собачья. И положил ладонь ей на лоб, чтобы проверить, прошел ли жар, чтобы опровергнуть свою догадку. Догадка не опроверглась – лоб был совершенно холодным, неодушевленно холодным, как любой другой неживой предмет в комнате. Из идиотского упрямства для сравнения я дотронулся до стены – вот именно, точно такой же.

Соседка моя умерла. А ребенок пропал. Я обошел всю квартиру: комната, кухня, ванная совместно с туалетом, – но так его и не нашел. Нужно было срочно что-то предпринимать, куда-то звонить. Но вместо этого я вернулся к ней и сел на кровать рядом, будто она в самом деле больна и просто уснула. И долго смотрел на нее. При первой встрече лицо ее мне показалось знакомым, теперь я был абсолютно уверен, что видел ее. Я видел ее мертвой, раньше, когда-то. Видел

именно это мертвое лицо, только там (я не помню где) оно было искажено ужасом предсмертных мук. На этот раз ей повезло больше: она была спокойно, почти умиротворенно мертва.

Но нужно было звонить. Я достал телефон и вышел в коридор – в присутствии мертвой сообщать милиции о ее же смерти мне показалось кощунственным, все равно что при умирающем обсуждать, как и в чем его похоронят. Набрал номер – и тут чуть не выпустил телефон из рук: в дверь позвонили. Я нажал на отбой и замер. Человек за дверью подождал немного и позвонил опять. Я знал, что сейчас произойдет: устав звонить, он в раздражении начнет стучать, незапертая дверь откроется, он войдет и увидит меня, стоящего посреди коридора с телефоном в руках, – но поче му-то не мог даже пошевелиться. На меня словно ступор напал.

Стучать он не стал, а просто толкнул дверь. Увидев меня – неясно, нечетко, если судить по тому, как я увидел его (в коридоре был полумрак), – он в удивлении застыл, но очень быстро пришел в себя, дружелюбно рассмеялся, протянул руку и пошел мне навстречу (я тоже сделал несколько неуверенных шагов).

– Станислав! – представился мужчина. – Станислав Иващенко, Инга вам, наверное, рассказывала. – Он крепко пожал мне руку.

Тут я увидел, что пришел он тоже с букетом (маленький, скромный букет маргариток), и зачем-то стал судорож-

но вспоминать, где оставил свои розы.

– Филипп Сосновский, – пробормотал я, так и не вспомнив.

– Вы, очевидно, Ингин муж?

– Нет, я сосед.

Это почему-то его очень обрадовало. Станислав хлопнул меня по плечу, словно мы были сто лет знакомы, а я к тому же сообщил ему какую-то дружески приятную новость.

– Ну и где же наша мамочка? – Он рассмеялся и двинулся к комнате.

Этого я допустить никак не мог, но так растерялся, что не нашел ничего умнее, как грубо схватить его за плечо.

– Ты чего? – возмутился Станислав, с подозрением посмотрел на меня, оттолкнул и вошел в комнату.

Я за ним не последовал, остался в коридоре. Мне захотелось уйти, скрыться в своей квартире, запереться на все замки, включить музыку и забыть о том, что произошло, представить, будто никакой соседки и не было и ребенок не доводил меня своим плачем – да, кстати, где он все-таки? – вернуться к своей картине и не помнить, не помнить... Желание было настолько острым, что я пошел к двери, подчиняясь только ему, как гипнотизеру, не слушая доводов рассудка, и, наверное, ушел бы, если бы не Станислав. Я о нем уже начал забывать, вытеснил из своего сознания: лишний, ни для чего мне не нужный, просто некий незнакомец с букетом низкорослых цветов. Но он существовать не перестал,

вдруг оказался рядом со мной, в коридоре, зачем-то зашарил рукой по стене. Свет резанул по глазам – вот зачем он шарил: искал выключатель.

– Это ты ее убил? – спросил равнодушно. – А что ты сделал с ребенком?

– С ребенком?

– Да. Где ребенок?

– Не знаю.

Я повернулся к нему, он странно, растерянно-зловеще улыбался. Мне не понравилась его улыбка. И не понравилось что-то еще в его лице. Мы смотрели друг на друга в упор и проникались обоюдной враждой и каким-то нездоровым, извращенным любопытством: он всматривался в лицо убийцы, я узнавал в его лице то, другое, очень похожее лицо – мертвое лицо. И ждал, что вот сейчас раздастся звонок – пожалуйет новый гость, – я уже догадался, кем он окажется – одним из тех... оставшихся троих. И очень надеялся, что ошибся, больше никто не придет. Но звонок прозвучал, ужасно громко и резко – мне показалось, гораздо громче, чем когда звонил Станислав. Он вздрогнул, схватил меня за руку, взгляд его совершенно изменился – теперь это был растерянный, испуганный человек, и смотрел он на меня словно ища поддержки. Ну да, все правильно. Станислав обвинил меня в убийстве, но я-то не признался, не подтвердил его обвинения, значит, теперь могу в свою очередь обвинить его перед тем, кто пришел. Теперь мы на равных, мы стали сообщни-

ками.

– Не будем открывать, – испуганно прошептал он и посмотрел с откровенной мольбой.

– Бесплезно. Он все равно войдет. Или она.

– Она? – Он дернулся. – Кто она?

– Пожилая или молодая. Осталось две женщины.

Станислав, кажется, не понял, но не стал переспрашивать – он отчаянно боялся.

В дверь постучали, дверь заходила ходуном – и медленно поползла на нас.

– Я же говорил – бесполезно. Так всегда: сначала звонят, а не откроют – начинают стучать.

Да, это была женщина. Пожилая. Та самая. Я ее еще плохо рассмотрел, но все равно понял, что надеяться не на что – это она. Пожилая и полная. В руке у нее был букет ромашек. Она вошла робко и снова постучала, хотя уже была в квартире и увидела нас.

– Здравствуйте. – Женщина застенчиво улынулась. – Я – Нина Витальевна Шмелева.

Мы ей ничего не ответили, женщина окончательно смутилась.

– А... где Инга?

– Там! – брякнул Станислав и указал на дверь комнаты. – Только она плохо себя чувствует, – нашелся он все-таки. – День рождения, кажется, отменяется.

– Отменяется? – расстроилась женщина. – Но я могу

взглянуть на малыша?

Станислав посмотрел на меня, я пожал плечами.

– Боюсь, что это невозможно.

– Почему? – Казалось, что женщина вот-вот заплачет. – Мне бы все-таки хотелось поговорить с хозяйкой. Инга обещала... – жалобно пробормотала она, и вдруг настроение у нее резко изменилось, она враждебно посмотрела на нас, как на препятствие своей неведомой удаче, и, решительно нас оттолкнув, прошла в комнату. Мы ничего не успели предпринять, потому что все произошло неожиданно. – Нет, пусть она мне сама скажет. Или откажет, если на то пошло, – проговорила она уже в комнате – вероятно, для Инги, – на секунду замолчала и разразилась жутким криком.

Станислав бросился к ней, я остался в коридоре поджидать оставшихся гостей.

Следующим был мужчина. Анатолий Бекетов, таково было его «мирское» имя. Фотограф. В этом качестве его и пригласили на день рождения ребенка. Я не стал дожидаться прохождения всех этапов, открыл сразу, после первого звонка. Морочить неправдоподобными отговорками о болезни хозяйки, когда из комнаты неслись такие недвусмысленные крики и причитания, тоже не посчитал нужным. Потому сразу ввел в курс дела: хозяйка мертва, ребенок исчез, милицию мы еще не вызвали. И пока рассказывал, не отрываясь, следил за его лицом – оно постепенно менялось: от важного, полного собственного достоинства «господина» под ко-

нец истории не осталось и следа, лицо превратилось в то самое, только пока живое. Я ясно слышал его плач, постыдный для такого взрослого мужчины, слышал, как он хрипло дышит простуженным носом. Женщина в комнате продолжала причитать – как странно! – что-то о своем невезении. Сквозь всхлипы я отчетливо слышал ее кашель. У меня кружилась голова, но я не мог испугаться. Мои мертвецы восстали с моей картины, но я не мог испугаться. Или это не я не мог, а художник?

Фотограф между тем схватился за ручку двери, предпринимая попытку к бегству, но ему помешали – явился последний гость. Вернее, гостья.

Она была уже, как бы заранее, испугана и расстроена – шла сюда в ожидании беды. Светловолосая девушка лет двадцати пяти. А по голосу – совсем ребенок. Мать не переживет ее смерть, и думать нечего.

– Где Инга? – закричала она с порога, другим, взрослым, голосом, но мне чудился тот. – Кто вы такие? Что происходит?

Прислушалась к причитаниям, все поняла, уронила букет и бросилась в комнату.

Я закрыл дверь на замок, спрятал в карман ключ, повернулся к фотографу:

– Теперь все в сборе. Пойдемте.

Комната была залита солнцем и наполнена звуками. Я не ослеп, не оглох, я мог двигаться. И мои восставшие герои с проклятой картины «Шесть мертвецов» оживленно передвигались по комнате.

Кроме Инги. Передвигались, рыдали, причитали, возмущенно кричали, что-то пытались мне доказать, чего-то от меня требовали. Последняя гостья оказалась сестрой умершей моей соседки, она переживала настоящее горе. Остальные видели друг друга впервые – и Ингу тоже никто из них не знал. Нас всех пригласили на день рождения к ребенку. Ребенок исчез.

Ребенок исчез, а мои мертвецы появились. Я должен был испугаться, я обязан был потрястись. Что может быть для художника страшнее ожившей картины, перешедшего в реальность сюжета? Это высшая точка безумия. Но я не был безумен, и я совсем не мог испугаться. И это, пожалуй, было страшнее всего, потому что и объяснения происходящему я не имел. Почему они все здесь собрались? Зачем Инга нас всех пригласила? Куда делся ребенок? От чего она умерла?

Эта комната, залитая ярчайшим солнцем, была такой же невозможной, нереальной, такой же абсурдно пугающей, как тот темный, глубокий колодец, в котором я очнулся однажды. Но я не мог испугаться. Как и тогда. Не мог испугаться,

не мог прочувствовать нормальный человеческий страх, но и не мог понять, что происходит, и потому выискивал спасительную лазейку для своего сознания. Как и тогда. Галлюцинация. Все эти люди – просто плод моего больного сознания. Я сошел с ума, мне нужна помощь. Медсестра...

Эта полная женщина в возрасте и есть медсестра. Но мне она не поможет. Правда, она – детская медсестра. Пришла устраиваться няней к ребенку, ей никак не удастся найти место. Какая реальная, какая настоящая жизненная история. Она сама ее рассказала – вероятно, затем, чтобы убедить меня в своей реальности. Да я и так убежден.

И этот фотограф вполне реален, и Станислав, и Ингина сестра.

Шестым мертвецом на картине был я. Я – тоже вполне реален, уж в этом-то мне усомниться трудно.

– Так что же нам делать? – Станислав склонился надо мной, слегка похлопал по щеке, видимо полагая, что я где-то не с ними, по ту сторону сознания.

– Не знаю.

– А кто должен знать?! – возмутился он, и был прав, сто раз прав: именно я ответствен за все, что здесь происходит.

И тут опять раздался звонок в дверь. Неожиданный звонок. Неправильный звонок. Больше никто не должен был появиться в этой квартире. Мы составляли единый организм, дополняли друг друга. И даже мертвая хозяйка Инга, пока единственная мертвая среди нас, живых мертвецов, не дис-

сонировала. Кто же еще пришел? Нас здесь шестеро, и никакого седьмого быть не может. Все в сборе. Непонятно, правда, кто нас собрал.

Снова звонок. Все замерли и посмотрели на меня. Почему на меня? Почему именно я должен идти открывать? Ну да. Ключ. Ключ у меня в кармане.

Я медленно встал, медленно-медленно достал ключ.

– Может, не открывать? – Фотограф вцепился мне в плечо, стало больно и почему-то противно. – Зачем открывать? Если сидеть тихо, подумают, что никого нет, и уйдут. И мы уйдем. Знаете, лично я здесь ни при чем. Я просто фотограф! Мне не нужны неприятности. И, – он оглянулся, обвел взглядом всю компанию, – и никому не нужны.

– Да-да, – подхватила женщина-медсестра, несостоявшаяся няня, – разве мы виноваты в том, что случилось?

– Я вообще оказался здесь по ошибке, – жалобно хохотнул Станислав. – Со мной произошла такая смешная история! Если кому рассказать...

– Хватит! – прервал я их, отцепил руку фотографа от своего плеча и пошел к двери.

Шестеро. Нас должно быть только шестеро. И значит, этот, седьмой, – лишний. Кто он?

Я медленно вставил ключ в замок, аккуратно повернул, чтобы не щелкнуть. К чему такая осторожность, не знаю, но я старался действовать очень тихо. Даже заставлял себя дышать неслышно. Так же медленно и осторожно стал открыв-

вать дверь.

На пороге стоял обыкновенный молодой мужчина. Самый обыкновенный, никакого отношения к моей картине не имеющий. С какой тогда стати он оказался здесь?

– Здравствуйте. Я по приглашению Инги.

В руке мужчина держал изящный букет.

– Проходите. – Я посторонился, освобождая ему дорогу. Кто он такой, черт возьми?!

Мужчина вошел в комнату, спокойно осмотрелся, легким полукивком-полупоклоном поздоровался с присутствующими – с громким, каким-то по-женски истерическим всхлипом вздохнул фотограф, нервно усмехнулся Станислав, Нина Витальевна, медсестра-няня, отвела глаза, Анна, Ингина сестра, даже не подняла головы, словно и не заметила, что еще кто-то пришел.

Кто-то. Седьмой. Он посмотрел на свой букет, снова обвел взглядом присутствующих, будто соображая, кому подарить цветы. Он тоже пришел с букетом – мы все, как один, пришли с букетами, даже фотограф, хоть и утверждал, что уж он-то тут совсем ни при чем. Шесть букетов. Предназначенных живой виновнице торжества, мертвой матери пропавшего ребенка. Шесть букетов. И шесть приглашенных. Один из них лишний. Мне стало смешно, невыносимо смешно. Я прислонился к стене, чтобы сдержать дрожь распирающего меня неуместного смеха. И тут взгляд вновь прибывшего наконец натолкнулся на Ингу. Он не сразу ее увидел,

потому что изголовье кровати загоразивала Анна, оплакивающая свою мертвую сестру (Аня, Анечка, у тебя был такой детский голос!).

– Что происходит? Инга... – начал он довольно спокойно и не закончил фразу, быстрым шагом прошел к кровати.

Анна поднялась и почему-то загородила ему дорогу, не пуская к сестре.

– Ну да, она мертва, ее убили! – закричала Нина Витальевна, подскочив к Анне и обнимая ее, словно хотела защитить.

– Но мы ни при чем! – выступил фотограф.

– Когда мы пришли, она была уже мертва! – объяснил Станислав, не вдаваясь в подробности – получалось, что пришли мы все вместе, одновременно.

Станислав, фотограф, Нина Витальевна и даже Анна – все повернулись ко мне, требуя, чтобы и я высказался, подтвердил их слова. Словно понимали, что мы – единое целое, а он – совсем другое дело.

– Да, это так, – сказал я и закрепил наш союз: – А вы, собственно, кто такой?

– Вот-вот! – закивали остальные.

– Я? – Кажется, он удивился нашей сплоченности – неприятно удивился и, возможно, даже обиделся. – Один из гостей, – решил он примазаться к нашей компании. – Меня пригласила Инга Боброва на день рождения малыша. А... – Он остановился, словно что-то сообразив, пробежал взглядом по комнате. – А где ребенок?

Ну, наконец-то до него начал доходить весь кошмар ситуации.

– А ребенка нет! – почти злорадно проговорил Станислав. – И мы не знаем, где он в принципе может находиться. Не исключено, что его похитили, а для этого убили мать, – выдвинул он свою версию.

– Похитили? – тупо переспросил мужчина.

– Ребенка можно выгодно продать, – высказалась Нина Витальевна. – За границу.

Анна судорожно всхлипнула и разразилась рыданиями, но на нее не обратили внимания, все опять повернулись ко мне, требуя моего участия, и замолчали. Я кивнул – это все, что смог сделать. Я видел, как им всем страшно, но сам испугаться не мог, хотя мне должно было быть гораздо страшней. Но они удовлетворились и этим. Мужчина, этот лишний, седьмой, посторонний, видно, решил сам убедиться в том, что все так и есть, как ему рассказали, отстранил Анну, склонился над мертвой и что-то стал над ней проделывать. Все переместили свои взгляды на него, а я отвернулся. Потом подошел к окну и стал смотреть вниз – вид здесь был точно такой же, как из всех трех моих окон: полуразрушенная детская площадка, заброшенный грязный двор.

– Ну что, убедились? – услышал я голос Станислава, но уже сквозь туман. Потом туман сгустился, некоторое время я ничего не слышал, сосредоточившись только на том, что вижу. Не было больше никакой детской площадки, не было

двора, я стоял у окна, позади подсматривающего, и точно так же, как он, всматривался в лицо моего «счастливица» в кресле. Что-то с ним случилось, он больше не был счастлив, черты его исказились страданием. Я долго удивленно смотрел, пока не понял, в чем дело. Моя главная ошибка состояла в том, что я неверно определил источник звука – плач в голове звучал не у подсматривающего, а у человека в кресле. Это он год назад потерял ребенка. А жена его умерла. Однажды он вернулся с работы и обнаружил, что у него больше нет ни жены, ни ребенка. Год назад или больше. Да, больше – была зима. Он возвращался по темной, пустынной улице поздним вечером, шел снег, но его шаги раздавались отчетливо, и вдруг услышал музыку: сначала совсем тихо, потом, с приближением к дому, все громче и громче. Звучала их любимая с женой вещь – *Stabat mater* Перголези. Он шел и предвкушал счастье. Окно светилось уютным домашним светом, он поднялся на крыльцо (квартира была с отдельным входом), легонько постучал по стеклу, предупреждая о своем появлении, открыл дверь своим ключом... Большая комната (именно она выходила окном на улицу, по которой он шел) оказалась пуста: жена укладывает ребенка в другой комнате – так он подумал, сел в кресло, сделал музыку чуть тише и стал дожидаться ее появления. Долго сидел: Перголези перетек в Вивальди, Вивальди в Глюка – он задремал, а она так и не появилась. Тогда он встал и пошел в ту, другую комнату. Жена лежала на кровати, укутанная двумя теплыми одеяла-

ми, потому что стояла зима, а ребенка нигде не было видно...

Как он жил эти полтора года? Никак не жил. И вот теперь он снова слушает Перголези, сидя в кресле в той же комнате, божественная музыка не может заглушить плач в его голове. Он слушает... Нет, он к чему-то готовится. Что он собирается сделать? Это хочет понять подсматривающий. Вот-вот он станет свидетелем... Свидетелем чего?

Я вздрогнул – кто-то положил руку мне на плечо. Подсматривающий? Резко обернулся, чтобы застать врасплох – уловить его естественное выражение лица, пока он не успел надеть маску, – и натолкнулся на последнего гостя, лишнего, несюжетно седьмого.

– Сейчас приедет милиция, – сказал он. – Думаю, вам следует подготовиться. Вы так ушли в себя.

– Милиция? – Я непонимающе уставился на него. – При чем здесь милиция?

– Когда происходит убийство, – он неприятно усмехнулся, – законопослушные граждане обязаны сообщить об этом в органы правопорядка.

– Ах да! Она умерла.

– Или ее убили.

– Я был против! – закричал фотограф.

– Мы все были против! – подтвердил Станислав. – Но он, – Станислав бесцеремонно ткнул пальцем в седьмого, – позволил.

– Позвонил, – с важным видом кивнул тот. – Теперь остается надеяться, что убийца не среди нас.

Глава 2

В ловушке

(*Инга Боброва*)

Денег было жалко до слез, но иного выхода Инга просто не видела. С Витьком она познакомилась года два назад, еще когда жила с родителями: убирала участок матери (та была в долгосрочном запое), сгребала первые желтые листья, а он как раз и подошел, помог подержать мешок, пока она запихивала туда мусор, пошутил насчет ее слишком юного для дворничьего дела возраста – в общем, разговорились. Витек ей понравился, но главное – она чувствовала, что очень нравится ему. Раньше на нее никто так не смотрел. А Витек не просто смотрел, но и говорил, говорил. Сказал, что она ничего, симпатичная, только прикид подкачал, но это дело поправимое, потому как теперь он при деньгах, что у него комната в коммуналке, что... Открывались прекрасные перспективы – еще какие! Но романа не получилось. Сходили пару раз в ночной клуб «Апельсин», и все. Она сама ему отказала и даже врезала по морде, хоть это было совсем не безопасно. А все из-за Зойки. Вернее, из-за того, что она ей рассказала. Оказалось, что Витек вернулся с зоны, куда его перевели с малолетки. В общей сложности восемь лет отсидел. За убийство. Тогда это казалось так страшно: господи! ее парень –

убийца! Невыносима была мысль, что руки, которые ее обнимали, убили человека. Ей все представлялся окровавленный труп...

А теперь она сама к нему шла. Чтобы нанять в качестве киллера. И ужасно жалко было денег – рушилась мечта. Но другого выхода нет. Иначе ее саму убьют.

А все так хорошо начиналось! За работу не просто не пыльную, а прямо-таки детскую платили совсем не по-детски. Сто баксов в день! Семьсот в неделю! А ей всего-то нужно было насобирать штуку, чтобы осуществить мечту – поступить на курсы визажистов, вырваться наконец из этого замкнутого круга: ей приходилось работать дворником (уже не за мать, за себя, с матерью они, слава богу, расплевались), потому что снимать квартиру было не по силам, а, работая дворником, ничего другого невозможно было предпринять. С этими деньгами решались разом все проблемы, да и ничего криминального в своей новой работе она не усмотрела (да и кто бы на ее месте усмотрел?). И согласилась. И вот теперь приходилось расстаться и с мечтой, и с деньгами. Да к тому же... Ну могла ли она когда-нибудь подумать, что сама захочет стать убийцей – нанять киллера?!

Вернее, Витька. Потому что никаким киллером он все-таки не был. Просто убийцей. Инга даже не знала, кто его жертва: мужчина, женщина, старик, ребенок? Но все равно: раз убил один раз, значит, сможет сделать это еще – за деньги, так она считала. Вот только не переехал бы.

Витек не переехал, но взяться за работу сначала отказался наотрез. Бросал злые взгляды на коляску, тряс головой, слушая ее сбивчивый и не совсем правдивый рассказ, а под конец вернул ей ее оплеуху – у Инги чуть голова не оторвалась.

– Во что ты вляпалась, дура?! – закричал он на нее и снова замахнулся, но она увернулась.

Но все-таки телефон взял. А вечером позвонил. Они договорились встретиться на террасе кафе «Негритенок», завтра в половине девятого. Это Инга назначила такое время, потому что оно совпадало с прогулкой: коляска – отличное прикрытие. Витек уже вполне вошел в свою роль и не сказал по телефону ничего такого, что могло бы вызвать подозрения, в случае если ее прослушивают. Разговор строился вполне невинно: «Привет, Инга, сколько зим, сколько лет, как делишки, как детишки?» – и все в таком духе.

Оставалось только заказать фотографию, которую она умудрилась незаметно сделать мобильником, и купить конверт. Все это напоминало фильм и потому было почти не страшно. О жертве Инга старалась не думать. А вообще-то он такой гад, что и не жалко. И потом, выбор был небольшой: либо он, либо она.

Утром, ровно в восемь, как обычно, Инга выкатила коляску. Оглянулась на квартиру соседа и покатила по лестнице вниз, производя страшный грохот. Конверт с деньгами и фотографией лежал в кармашке коляски – немного кошунственно, зато надежно. Кафе «Негритенок» находилось

в трех остановках от дома, поэтому она пошла очень быстро, чтобы оказаться на месте без опозданий: кто его знает, этого Витька, вдруг не дождется ее и уйдет? Или передумает. Или испугается. Или... мало ли что? Но как ни торопилась, все-таки опоздала – Витек уже расположился за столиком с бокалом пива. Для Инги он не догадался ничего заказать.

– Привет, старуха! – поздоровался он с ней и развязно закинул руки за спинку стула. – Ничего выглядишь. Будешь? – Витек кивнул ей на свой бокал.

Инга пристроила коляску рядом со столиком, незаметно вытащила конверт и спрятала в карман джинсовки (она специально для этого ее и надела, хотя было жарко).

– Так будешь? – Витек опять кивнул на бокал. – Хорошее пиво, холодненькое.

– Ты же знаешь, я пиво не пью, – сердито сказала она.

– Да? Забыл. И потом, столько времени прошло – привычки меняются.

Они словно продолжали заданную во вчерашнем телефонном разговоре роль: давние хорошие знакомые, между ними когда-то что-то было.

– А что тогда будешь? – не отставал Витек.

– Сок. Виноградный.

Витек пошел за соком, а она подумала, что совсем не волнуется и это неправильно. Тряхнула головой, поднялась, поправила на коляске накидку от солнца, снова села. Вернулся Витек со стаканом сока.

– Вот. Витаминизируйся. – Он поставил перед ней стакан.

Инга послушно глотнула – сок был очень холодным и резким. Все было как-то не так – слишком повседневно. «Я пришла нанимать киллера», – проговорила она про себя и ничего не ощутила. Потрогала конверт в кармане – ничего.

– Как она, жизнь, вообще? – спросил Витек.

– Да так, ничего. А ты как? – подхватила она роль.

– Нормально.

Пора было переходить к делу. Инга кивнула Витьку и передала ему конверт под столом.

– Фотография внутри, – шепнула она.

Вот тут он совершенно вышел из роли, забыл о всякой конспирации. Вместо того чтобы незаметно положить конверт в карман, открыл его, прямо так, на виду у всех, вытащил пачку денег и стал пересчитывать.

– Ты чего? – зашипела Инга на него. – С ума сошел? Спрячь!

Но он никак на это не отреагировал. Кончив считать, положил деньги на стол, вытащил фотографию, посмотрел с ленивым интересом, улыбнулся.

– Шикарный мужик! И не жалко такого в расход пускать?

– Убери! – взмолилась Инга. – Спрячь! Ну, пожалуйста.

– О! – Витек вдруг поднял голову, посмотрел куда-то мимо Инги, рассмеялся. – А вот и он сам! Здравствуйте, Петр Евгеньевич! – Он протянул руку через Ингину голову, другая рука протянулась ему навстречу.

– Здравствуй, Виктор! – весело проговорил знакомый голос.

Инга вскрикнула и повернулась. Да, это был он, ее работодатель, ее потенциальная жертва. Она в ужасе смотрела на него, а тот словно ее и не замечал. Сгрел фотографию со стола, посмотрел, усмехнулся.

– Весьма посредственный снимок. И ракурс выбран неверно. Чувствуется рука профана и отсутствие сколько-нибудь приличной техники.

– Да, – согласился Витек. – Но откуда же у бедной девушки возьмется приличная аппаратура?

– Не такая уж она и бедная. – Петр Евгеньевич взял со стола деньги, пересчитал. – Аванс? – посмотрел он на Витка.

– Ага. Остальные после дела, все как у взрослых.

– Не маловато?

– Маловато, но что же я со своих буду драть? – Он подмигнул Инге.

– Ну да, конечно, – согласился Петр Евгеньевич. – Только у меня есть предложение получше. И в смысле оплаты труда, и в смысле качества снимка. – Он достал из кармана фотографию и положил посередине стола.

Инга почувствовала, что вот-вот потеряет сознание: на фото была она.

– А ра счет полагаю произвести следующим образом: ее доля, – он кивнул на Ингу, – плюс удвоенная ставка с меня.

– Согласен! А как насчет сроков?

– Сколько она тебе еще должна?

– Семьсот.

– Значит, через неделю. Раньше у нее денег не будет, чтобы с тобой расплатиться.

– Ладно уж, – Витек пренебрежительно махнул рукой в сторону Инги, – недельку могу и подождать. – Способ?

– Это я тебе потом скажу, неудобно при ней. – Петр Евгеньевич понизил голос и сделал вид, что смущен.

Розыгрыш! Это просто розыгрыш! Сейчас они повернутся к ней, засмеются и, кривляясь, закричат: «Ну что, забоялась?» – как в детстве мальчишки у них во дворе. Ведь это не может быть правдой! Главное – не показать, что боится, тогда затравят, сделать вид, будто понимает: все это просто шутка, – подыграть...

Инга откинулась на стуле, улыбнулась, с прищуром посмотрела на них.

– Извини, Витек, ничего не получится, я передумала, денег не будет. Петр Евгеньевич, я увольняюсь...

– Э нет, дорогая! – возмутился Витек. – Как это передумала, как это денег не будет? Уговор есть уговор.

– Он не согласится, – проговорил Петр Евгеньевич с наигранным сочувствием. – И думать нечего. Витек – человек жадный, пардон, деловой, я хотел сказать. Так что придется тебе ему заплатить, значит, еще недельку на меня поработать.

– Чтобы оплатить свою смерть? Вы не офигели, мужики? – Инга рассмеялась – не очень-то весело это у нее получилось.

– Частично оплатить, – поправил ее Петр Евгеньевич. – Основные расходы я беру на себя.

– Спасибо.

– На здоровье.

– Смешная шутка.

– А мы вообще остроумные люди.

– Ну да, я заметила.

Розыгрыш, розыгрыш, розыгрыш! Нужно еще немного продержаться, не выбиться из роли, не закричать, не заплакать. Инга посмотрела на часы:

– О! Мне пора, время прогулки давно закончилось. – Поднялась, подошла к коляске.

Спокойно уйти, не подавая виду, что напугана, а ночью сбежать. Можно уехать к сестре в Лесозаводск, там они ее не найдут... Кровь в висках ужасно стучит, и голова раскалывается. Как давно у нее не болела голова и... ничего не болело! К сестре в Лесозаводск... а сейчас спокойно уйти.

Инга взялась за ручку коляски, аккуратно развернулась, чтобы не задеть столик.

– Один только момент! – весело прокричал Петр Евгеньевич. – Сядь.

Инга вернулась и послушно села.

– Послезавтра твоему малышу исполняется полгода. Пер-

вый юбилей, да? – Он засмеялся. – Это событие надо отметить. Музыка, гости, все такое. Вот, – он протянул ей какой-то листок, – список приглашенных и... ну, там все написано, дома посмотришь. Позвонишь сестре, она тоже в списке.

– Сестре? – В голове взорвалась бомба, Инга зажмурилась от невыносимой боли.

– Она переехала на другую квартиру, вот ее новый домашний телефон. Ты не знала? Ну да, конечно, вы ведь давно не созванивались. А вот новый адрес, так, на всякий случай, вдруг вздумаешь телеграмму дать или еще что. И последнее. – Петр Евгеньевич понизил голос, придвинулся к ней. – Одну глупость ты уже сделала – попыталась меня заказать, – и видишь, как все обернулось? Учись на ошибках и не пытайся переиграть меня еще раз. Киллеру нужно заплатить в любом случае, понимаешь? Анна...

– Я поняла!

– Конечно! Ты ведь не захочешь, чтобы твой долг отдавала сестра. Своей жизнью.

Глава 3

Призрачная улица

(*Филипп Сосновский*)

Звонок звенел и звенел, а я не хотел просыпаться. Слушал эти назойливые переливы (они совпадали с сюжетом сна) и думал: я мертвый художник, я не могу открыть дверь. Но звонок не умолкал – добил, разбудил. Я приподнялся на локте, послушал – звенит. И будет звенеть, пока не открою. Это милиция. Снова пойдут вопросы, вопросы. Мало им вчерашнего? Вернулись, чтобы начать все сначала: имя, фамилия, год рождения... в каких отношениях вы состояли с погибшей?

В каких отношениях? Я просто художник. Обычный художник. Вернее, был когда-то обычным. Но вот однажды я сел в такси... А потом возникла картина «Шесть мертвецов». Инга была на ней в числе прочих – в числе тех, кто вчера явился на день рождения пропавшего ребенка. Как назвать такие отношения? Не знаю. О картине, конечно, я им не рассказал. И сегодня не расскажу, зря пришли.

Но открыть дверь все же придется.

На пороге стояла Анна, сестра Инги, а никакая не милиция. Видимо, ей разрешили остаться в квартире. У меня появилась новая соседка. К счастью, без ребенка. Интересно,

а ей нравится Перголези?

– Простите, Филипп, – слабым и каким-то простуженным голосом проговорила она. – У меня страшно болит голова, нет ли у вас чего-нибудь обезболивающего?

– Обезболивающего? – переспросил я и присмотрелся к ней внимательней. Да, вид у нее действительно больной: покрасневшие веки, мутный взгляд и на ногах, похоже, еле держится.

– Какой-нибудь таблетки.

– Проходите.

Анна качнулась, ухватилась за стену, сделала неуверенный шаг и чуть не упала. Я подхватил ее, провел в мастерскую, усадил на стул и тут сообразил, что у меня не только нет никаких лекарств, даже простого градусника не найдется. Я так давно ничем не болел...

– Сто лет не болела, – хрипло сказала Анна и кашлянула. – Кажется, у меня жуткая температура.

Я дотронулся до ее лба.

– Точно! Вам нужно срочно в постель.

– Да. Только немного посижу. Очень холодно. – Девушка зябко повела плечами. – Мне бы таблетку.

– Сделаем так: я вас отведу домой и сбегаю в аптеку. Лучше бы вызвать скорую, но не знаю, приедут ли они сюда. Можем только время потерять. Пойдемте.

С большим трудом я ее увел и уложил в постель – в ту самую, на которой вчера лежала Инга! – укрыл двумя теплыми

одеялами – теми самыми! – и помчался в аптеку. Но когда выскочил на улицу, понял, что понятия не имею, где здесь аптека. Спросить было не у кого – этот район почти безлюдный: несколько домов, стоящих на отшибе, и те выселены, до ближайшей остановки не меньше пятнадцати минут ходу, а нужно спешить. И тут мне на глаза попало стоящее на обочине дороги такси. Дверца была распахнута, водитель курил рядом. При других обстоятельствах я бы ни за что к нему не подошел: однажды я уже сел в такси... Но сейчас делать было нечего.

– Простите, пожалуйста, – обратился я к водителю, он посмотрел на меня вполне нормальным человеческим взглядом – обычный таксист, а не перевозчик в царство мертвых. – Вы не подскажете, где здесь аптека?

– Аптека? – Водитель задумался. – Поблизости нет. Это в центр надо ехать.

– Черт! Мне срочно. Как же быть?

– Садись, я свободен. Все равно еду в центр.

Спасибо, не надо, хотел отказаться я, но не нашел достаточных аргументов: не рассказывать же ему о том, как однажды я сел в такси и оказался в кошмаре?

Не рассказывать. Я сел в такси, сделал вид, что совершенно спокоен: он – обычный водитель, я – простой пассажир, мы друг другу вполне доверяем, и даже больше: нам и в голову не может прийти не доверять. За окном белый день, мы едем по городу, мелькают дома и деревья – знакомым марш-

рутом едем. Можно расслабиться. Нужно расслабиться. Улица Лермонтова. А дальше, на Гоголя, я знаю, прекрасная аптека. Вероятно, туда он меня и везет. Так и есть.

– Приехали!

Ну вот, обошлось – мы действительно просто приехали, я могу выйти, никто меня не удерживает.

– Спасибо, командир! – нервно-развязно сказал я и еле удержался, чтобы не хлопнуть его по плечу, невольно подражая манере Станислава. Вытащил деньги, заплатил за счастливо-безопасную поездку. Мне стало весело и захотелось общаться, что-нибудь невинное ему рассказать, но он отвернулся, готовясь уехать. – Постой! – Я схватился за дверцу машины. – Ты не мог бы меня подождать?

– Без проблем! – Таксист пожал плечами.

– Видишь ли, мне нужно скорее вернуться, – зачем-то принялся ему объяснять, хоть он и без того согласился подождать. – Одна девушка, моя соседка, заболела и...

– Да все нормально, иди. Только быстро.

Я опять разнервничался: а вдруг там очередь и он уедет? Взбежал на крыльцо аптеки (крутое и неудобное, обитое скользким псевдомрамором). Слава богу, напрасная тревога – было почти пусто: какая-то пожилая дама в соломенной шляпе сидела в кресле у фикуса, и другая, моложе, может быть, ее дочь, стояла у одного из окошек. Я подошел к соседнему.

– Самое эффективное средство от гриппа, – словно скан-

дируя рекламный слоган, проговорил я.

– Афлубин? – спросила девушка в окошке, засмеялась и указала куда-то глазами вверх.

Я проследовал за ее взглядом и уткнулся в плакат: негр, монголоид и парочка белых (брюнет и блондинка), взявшись за руки, весело бегут по голубому земному шару и напевают жизнерадостную песенку (слова вылетают из их широко раскрытых ртов, как лепестки роз в известной немецкой сказке): «Новый грипп чумой мир не сразит – афлубин спасет и защитит!» А сбоку карикатурное изображение свиньи, которая держит в зубах упаковку этого самого, спасительного для всего человечества, афлубина.

– Давайте, – согласился я – не то что реклама меня убедила, просто не знал, какое другое лекарство назвать.

– Только он дорогой, – предупредила девушка.

– Не важно.

Афлубин и в самом деле оказался дорогим. Старушка в кресле осуждающе покачала головой, ее дочь тоже посмотрела на меня с укором. Ощущая себя зажавшимся буржуем, я стремительно покинул аптеку.

Мой самый обыкновенный таксист, скучая, курил у своей машины. Я так обрадовался, что он не уехал! Перепрыгивая через две ступеньки, рискуя сломать себе шею на неудобном, скользком покрытии лестницы, ринулся к нему. Он мне кивнул, улыбнулся, как старому знакомому (как обычный таксист обычному пассажиру, который попросил его подождать

и вот вернулся). Пакет болтался у меня на запястье – рука непринужденно помахивала в такт моим быстрым, слегка подпрыгивающим шагам – все как у людей: я просто выполнил просьбу своей заболевшей соседки (самой обычной соседки, не из кошмарных снов), сгонял на такси в аптеку, купил самое эффективное лекарство от гриппа. Обычный человек в обычном мире. Если так пойдет дальше, возможно, скоро я опять начну сочинять простые сюжеты для своих до заурядности простых картин.

– Не долго? – чуть задыхаясь от быстрого спуска с крутой лестницы, спросил у таксиста.

– Да нормально все. – Он щелчком отправил окурок в давно пересохший фонтанчик и сел в машину. – Ну, куда дальше?

– Домой, – немного удивившись, ответил я – это ведь было так очевидно. – Королева, тридцать семь, второй подъезд... – И осекся, сообразив, что называю свой прежний, настоящий, адрес, а не тот, по которому сейчас живу. – Нет, простите! Окружная, шестнадцать. Это дом... в общем, там почти никто не живет. Все выехали, я один остался, все никак не соберусь переехать, уже и квартира новая готова, в смысле, ремонт сделан, да для меня, как для Обломова, переезд – целая катастрофа, – понес я, смутившись, какой-то пространный бред.

– Короче, мужик! Куда тебе надо? – оборвал он меня и посмотрел с подозрением.

Я очень расстроился: только-только начал налаживаться контакт с нормальными, простыми людьми, и вот...

– На Окружную, шестнадцать. Но там дом нежилой. Вы подвезете?

– Дом нежилой? Да мне по фигу! – Он раздраженно захлопнул дверцу, и мы поехали.

Я смотрел в окно и радовался: мой самый обыкновенный маршрут потек в обратном направлении: Гоголя, Лермонтова... Я чуть было все не испортил – раздражил водителя своим неуместным бредом, – но он не обиделся, не стал мстить – не повез в потустороннюю кошмарность. Мы ехали по обычным улицам – возвращались домой...

* * *

Я опять не заметил – или не запомнил – этого перехода. Как в прошлый раз. Из темноты беспамятства, в которой я пребывал, попал в темноту реальности. А что послужило толчком? Я сел в такси, мелькали обычные улицы. Когда и как наступила темнота? Впрочем, сейчас темнота не была такой непроницаемой: сквозь мутно-серую пелену слабо просматривался какой-то намек на свет. И было холодно. И воздух был пропитан сыростью. Обнадеживающие различия. Вдохновленный, я рискнул попытаться пошевелить рукой – и в первый момент не поверил своим ощущениям: рука легко и свободно отвечала моим приказам, да что там! – обе

руки отвечали. Ощупал то, что было подо мной – мокрый асфальт. Поднялся – и опять не поверил: неужели стою, смог, в состоянии стоять? Огляделся: темная, пустынная улица. Сделал осторожный шаг. Да, это просто улица. Темная, плохо освещенная, пустынная, но улица. И что-то знакомое в ней. Я прошел немного вперед – отлично слышатся ноги! – прислушиваясь к своим шагам: шаги раздавались отчетливо. Все правильно, но чего-то недостает. Редкие фонари так тускло горят, в окнах домов нет света. Одноэтажные старые домишки по обе стороны – я прекрасно знаю эту улицу! По ней так мучительно долго бродил мой несчастный друг. Я даже вспомнил ее название, а казалось, забыл навсегда. Болгарская. Ну да, именно так – Болгарская улица. Впрочем, на ней не хватает многого: музыки, снега, настоящего холода, единственного освещенного окна. А главное – музыки. На звуки музыки он и шел, мой страдалец. Звучал Перголези. А сейчас не звучит... Может, стоит пройти дальше? Может, здесь она еще не слышна?

Я пошел все вперед и вперед – глухо, но вполне отчетливо раздавались мои шаги. Дул ветер – мне показалось: зимний ветер. Мокрый асфальт под ногами скользил – гололед в обнимку с гололедицей. Брызги дождя срывались с деревьев, ветер кидал мне их в лицо – снежные, выюжные хлопья. Но музыки все не было слышно.

Скребуще-цокающий звук раздался позади. Кто-то стремительно несся – возможно, меня догонял. Не человек. Звук

приближался, звук мимо пронесся вместе с тенью. Я вздрогнул, почти испугался. Нечто не из моего вымысла. Остановился, прищурившись, долго всматривался в темноту – туда, куда умчалась тень. Напряг до предела мозг, чтобы отгадать загадку: что это может быть?

Разгадка оказалась простой, когда я смог ее найти, – простой до смешного. Собака. Конечно, по такой безлюдной, такой темной улице должна пробегать такая вот бесхозная собака. Только нужно чуть замедлить съемку: бежит, но не мчится, по параллельному тротуару, шаги прохожего звучат в унисон ее когтистым поспешным шажкам. Она бежит, он идет, не обращая никакого внимания, не замечая. Вступает музыка: сначала едва различима, потом все громче и громче – и форте у освещенного окна. Свет падает на собаку – она тоже как раз достигла окна, – тень от нее ложится на противоположный дом (маленькая дворняжка преобразовывается в собаку Баскервилей). Вот тут он ее и замечает. Смотрит с минуту, думает, не приютить ли? Одинокий пес и он, человек, одинокий. Но тут же отвлекается, поворачивается к окну. Музыка, свет. Окно хоть и довольно низко, но все же выше уровня его глаз. Поднимается на несколько ступенек крыльца – вот теперь хорошо, все отчетливо видно: уютная комната, кресло, мужчина, голова его обращена к двери, вот-вот должна появиться его жена, сейчас она укладывает ребенка... Собака забыта.

Впрочем, все оказалось не так. Сюжет изменился. Жена и

ребенок – в прошлом, теперь одни воспоминания.

Темная улица – точно такая же! Я должен был испугаться. Но я опять не боюсь. Я иду и иду и жду, когда станет слышна музыка. Вслушиваюсь изо всех сил – из-за этого иду очень тихо, нарушаю сценарий – шаги мои теперь совсем не слышны.

Вот. Наконец. Едва различимо, но вполне определенно: звуки музыки. Ускоряю шаги – вот и свет виден, там, впереди. Я уже почти бегу, но стараюсь бесшумно, чтобы не упустить... Да, можно больше так не торопиться – без всякого сомнения, эти звуки – музыка. Вот только... Останавливаюсь, вслушиваюсь, не верю, прохожу еще немного вперед, опять останавливаюсь и напряженно слушаю.

Какой обман! Да нет, это просто предательство! Не Перголези. Не мой божественный мальчик! Это... нечто прямо противоположное, нечто просто оскорбительное... «Окрась все в черный». Настоящее кощунство. Кто же надо мной так посмеялся?

Убитый, сраженный, слушаю чужеродную музыку и устало тащусь вперед. Чтобы наткнуться на новое разочарование – да нет, предательство! Желтые шторы. Окно наглухо занавешено ярко-желтыми шторами.

Поднимаюсь на несколько ступенек крыльца, приникаю к окну, пытаюсь найти хоть маленькую щелочку, – ничего! А музыка, не моя, чужая, звучит и звучит. Проклятый Джаггер, кривляясь, издевается надо мной. Ничего не видно. Совсем

ничего. Даже тени.

Мне нужно увидеть! Если я его не увижу, картина так и останется незавершенной, и тогда мне никогда не выбраться из этого кошмара. Я хочу домой – назад, к себе прежнему. Я должен его увидеть!

Плач ребенка не звучит у меня в голове. Да, помню, знаю: сюжет изменился. Ребенок погиб не у меня, подсматривающего, а у того, бывшего счастливица в кресле. Полтора года назад, стояла зима... Но я так хочу услышать плач ребенка!

Мик Джаггер его убил. Перголези оплакивал плач, а Джаггер утащил его в черную дыру ужаса.

Мне нужно его увидеть, моего страдающего счастливица! Тогда я пойму, что он задумал, зачем сейчас, через полтора года после того обманно счастливого вечера, снова вот так же сидит, зачем в точности воспроизводит события.

Не выдерживаю – стучу по стеклу. Ответа нет, ничего не меняется. Стучу громче, стучу изо всех сил... Приникаю ухом к двери.

Скрип в отдалении, шаги. Или мне кажется? Нет, не кажется, сейчас я его увижу. Не в кресле, не в комнате, но все равно...

Щелкнул замок. Я задрожал и приготовился к откровению.

Отворившаяся дверь явила темноту и едва различимый силуэт мужчины.

– Добрый вечер, – сказал я, сдерживая стук зубовой.

Сейчас услышу его голос, сейчас попрошу включить свет.

– Здравствуйте, – не повелся он на тему вечера – голос был очень тихий и какой-то неопределенный. – Так это вы?

– Я, – подтвердил, содрогаясь.

Джаггер сделал последний черный мазок на своем солнце и затих. Я думал – навсегда, оказалось – всего на секунду: ударники вновь взорвались непристойным дьявольским хохотом – песня пошла сначала.

– Почему вы слушаете это? – Я кивнул на окно. – Тогда звучала совсем другая музыка.

– Тогда – да, – проговорил он безжизненно.

– Но разве вы не хотели повторения?

– Повторений не бывает.

– Тогда чего вы хотите?

– Чего я хочу?

Мне показалось, что он усмехнулся и стал пристально всматриваться в мое лицо, хоть и не мог ничего увидеть, как я не видел его лица.

– Пожалуйста, включите свет! – потребовал я, не выдержав этого слепого всматривания.

– Не могу, что-то случилось с проводкой. Свет только в комнате.

– Тогда пригласите меня к себе.

– Преждевременно. Нет. Рано.

– А если в другую? В ту, которая... в которой... полтора года назад... Простите.

– В какую другую? У меня нет другой комнаты, здесь всего одна. Однокомнатная квартира, знаете ли.

– Так бывает. – Я сочувственно покачал головой. – Мне тоже иногда кажется, что моя мастерская – это все, что есть, но...

– Бывает, – перебил он меня. – Но у меня действительно однокомнатная квартира. Если бы было можно, я бы вам показал.

– Но как же тогда... – Я осекся: если он не помнит, нельзя напоминать. И все же не выдержал: когда дело касается моей работы, я становлюсь жестоким, а мне нужно было знать во что бы то ни стало. – Полтора года назад у вас погибли жена и ребенок! – жестко, отчаянно, зажмурившись, проговорил – нет, прокричал – я.

– Это не у меня.

– У вас. Сначала я тоже думал... подсматривающий и все такое. А потом понял: у вас.

– Нет, – мягко возразил он и опять отчего-то мне засочувствовал. – Неплохо было бы для начала разобраться, кто такой этот подсматривающий. А моя роль вполне определена.

– Кем определена?

– Вами, разумеется. Только не стоит обманывать себя. Если хотите закончить картину. Если так стремитесь к реализму. Впрочем, на вашем месте я бы не стремился. У вас неплохо работает воображение, вот и используйте дар.

– Что вы хотите сделать? – рубанул я напрямик.

– Нет, это что вы хотите, чтобы я сделал? Все зависит только от вас. Всё и все. Кстати, обо всех. Анна...

– Ах да! – Я стукнул себя по лбу. Черт! Как я мог забыть?! Анна! – Простите, мне нужно... Лекарство... – Я повернулся, чтобы уйти – бежать, мне нужно скорее...

– Подождите! – окликнул он меня. – Это уже бессмысленно. Да и никакого лекарства у вас нет.

Нет? Я посмотрел на свои руки, ощупал карманы – действительно нет.

– Наверное, потерял... Я не помню.

– Все равно. Никакое лекарство ей уже не нужно. Анна умерла сегодня в больнице.

– Умерла? – потерянно переспросил я.

– Да, умерла. А ко мне вам еще не время. Идите домой.

И, почти оттолкнув меня, решительно закрыл дверь.

* * *

Улица тянулась, как длинный темный коридор, и никак не кончалась. Я шел и шел, потрясенный, убитый, – когда же привал? Мне так хотелось оказаться дома, все равно где: в старой или новой квартире, – упасть на кровать (на раскладушку) и уснуть, чтобы ничего больше не чувствовать. Я устал. Я так устал!

Улица вылилась в темный пустой – по-ночному мертвый – автовокзал. Медленно, еле переставляя ноги, пересек вок-

зальную площадь, завернул за угол, прошел квартал вверх и наконец оказался на ярко освещенном центральном проспекте (раньше он назывался Ленина, как и все подобные ему во всех городах). По проспекту ходили люди, немного, но все же. Интересно, который час? Там, на Болгарской, мне казалось, что давно наступила ночь. Впрочем, возможно, и наступила. Можно посмотреть время на телефоне и узнать точно. Но с тех пор, как я разбил часы... нет, с тех пор, как по часам стал плакать ребенок за стеной, я совсем не стремился узнать... редко, только в исключительных случаях узнавал. А теперь вот стало интересно. Ребенок пропал, больше никогда не заплачет, Инга умерла, и Анна... Анечка, совсем юная девочка, детским голоском причитала... А теперь умерла.

Я достал телефон, посмотрел: ну да, так и есть – ночь, начало второго. Транспорт не ходит, как же мне добраться до дому? Не на такси уж точно. А пешком не дойти...

... Я дошел. Пешком. Не знаю, не помню точно как, но дошел. Нырнул в крошечную темноту подъезда, такую же абсолютную, как в моем кошмаре. Нащупывая ногой ступеньки, как хромой, как парализованный, поднялся в свою квартиру. Открыл ключом дверь, зажег свет – везде, везде, – мне так не хватало света, я больше не мог оставаться в темноте!

В мастерской лицом к стене стояла картина. Другая, не та, которую я сейчас писал. Та находилась на мольберте, где и должна была быть. Незавершенная. Ошибочная. Я все не так понял. Но завтра решу, завтра подумаю... А эта, другая...

Как она здесь оказалась? Развернуть? Посмотреть? Нет, тоже завтра.

Не погасив нигде свет, я прошел в спальню, бросился на раскладушку и тут же отключился.

* * *

Комната была залита светом, ярчайшим светом утреннего солнца. Свет проникал сквозь веки, и было больно смотреть на предметы: все они словно с внутренней подсветкой. А мой сон был точным повторением событий: шесть мертвецов в комнате, залитой солнцем. Я никак не мог от него отделаться. Пытался проснуться, но сон не отпускал. Руки и ноги связаны солнечными путями – невозможно пошевелиться.

Да ведь я уже и не сплю: это моя комната залита светом – солнечным и электрическим. Солнечный побеждает. Я дома. Вчера... Да, вчера я благополучно добрался до дому. Все хорошо. Полежу еще немного и встану. Мне нужно работать. Вчера... Да, вчера я узнал... И вот теперь нужно поскорее все зафиксировать, пока не ушло, пока не забыл. Прибавилось много новых деталей: собака, желтые шторы (конечно, на моей картине они будут раздернуты), приоткрытая дверь, а за ней – темнота, человек в кресле смотрит в темноту. Подсматривающий? Неужели придется писать еще один автопортрет? Ведь исходя из последних событий подсматри-

вающий – это я.

Ладно, с этим разберусь позже, сейчас меня больше интересует тот, в кресле. Как жаль, что я не увидел его лица. Судя по голосу, с лицом я ошибся: уже написанное лицо не соответствует образу.

Что-то меня мучает. Не могу понять что. Вчерашние блуждания? Нет, не то. Я эту улицу и без того знал – не хочу помнить откуда. Как я на ней оказался? Сел в такси и оказался, как обычно оказываюсь в таких местах. Ах да! Умерла Анна! Я слишком долго ходил за лекарством. Бедная девочка Анечка. Странно, она была старше Инги, а мне все представляется Анна в виде ребенка. Маленькая моя Анечка! Как жаль, как жаль!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.